

Г.И. Чернавин

НИУ ВШЭ

Феноменология совести Мариэтты Шагинян

В 1949 году Мариэтта Шагинян публикует в журнале «Новое время» заметку «Наша совесть». Я предлагаю вжиться в ту систему координат, которая набросана в этой заметке, примерить на себя описываемую специфическую форму совести: *совесть иного порядка*^У, *новый внутренний голос*^У.

Советские люди уже треть века без малого слышат в себе новый внутренний голос, выработали внутренний рефлекс на своё поведение, отличающийся от старого привычного понимания совести. Слово «совесть», хотя и простое и привычное, а говорит об очень сложной, очень глубокой черте, образующейся в поколениях людей долгим, длительным, постоянным воздействием той морали, тех нравственных норм, которые выработала определённая эпоха, определённый класс. В Сталине, в его образе олицетворили мы, советские люди, нашу совесть. Как воспитывалось и образовывалось в нас это сталинское строгое суждение о себе, ставшее нашей совестью? И чем эта совесть советского человека отличается от прежней жалостливой, скорбной совести? Вопрос огромный, и на него не ответишь сразу и коротко. Рассказы простых советских людей помогают нам подойти к ответу. (Шагинян 1949, 27)

Тридцать лет и три года (с 1917 по 1949) советские люди слышат в себе новый внутренний голос, то есть с того самого момента как они стали советскими людьми. При этом они сами выработали его как «внутренний рефлекс на своё поведение», отличающийся от «старого привычного понимания совести», от «прежней жалостливой, скорбной совести». В советских людях «воспитывалось и образовывалось сталинское строгое суждение о себе, ставшее их совестью». Совесть – это сталинское строгое суждение, которое советский человек вживляет себе. Стоит обратить внимание на то, что Мариэтта Шагинян использует сразу три несогласованных между собой метафоры совести: голос, рефлекс и олицетворение. Так слышат ли в себе советские люди голос или вырабатывают в себе рефлекс, или олицетворяют совесть в образе Сталина? Представим себе одновременно и то, и то.

Ответить на вопрос о том, что «стало нашей совестью» и чем она отличается от старых, отживших форм морального чувства, должны помочь свидетельства простых советских людей. Мариэтта Шагинян приводит беллетризованные рассказы о том, как Сталина посетила группа рабочих завода «Динамо», а также воспоминания воронежских колхозников-ударников о встречах с ним. Все ходоки переживают примерно один катарсис, поскольку тот «ещё до встречи с ними знал их нужды и недочёты, знал, что у них крыши протекают и что они не просеивают формовочную землю» (Шагинян 1949, 27), то есть видит насквозь их

мелкие проблемы, с которыми они сами могут справиться, но ничем не попрекает. Ходоки понимают всю неуместность всех просьб, с которыми пришли, но выходят просветлёнными и окрылёнными. Так происходит инъекция *совести иного порядка*^У. Рабочие завода «Динамо» сами в реальном времени цензурят свои бывшие «насуточные» просьбы, в моменте производят переоценку того, что считали важным; всё, что они увидели и услышали «вылилось в один волевой итог: он столько делает, он столько знает, а мы просить хотим!» (Шагинян 1949, 27) То есть хотели просить, но теперь сами понимают неуместность своих просьб, *сами почувствовали*^У. Запомним эту перво-сцену: ходоки вживляют себе новую форму совести.

Не всем повезло получить прививку новой формы совести в кабинете «откуда видна вся страна» в оболочке специфической «сталинской ласки» (обращённого на них сверхчеловеческого знания и внимания, ободрения), но она переходит по цепочке от получивших: «каждый из советских людей, получивший эту особую сталинскую ласку, передавал её дальше – землякам, коллективу, широкому кругу друзей» (Шагинян 1949, 28).

Так чем же *новый внутренний голос*^У отличается от «прежней, жалостливой скорбной совести»?

Мораль буржуазного мира докатилась до чудовищной формулы: «Нам нужны несчастные, чтобы в нас не умирала наша совесть». Эта формула как нельзя лучше служит капитализму, готовит нужные ему резервы подёнщиков, рабов труда, отбирает и культивирует в них самые удобные для эксплуататора качества - униженность, безропотность, смирение. Вот какова веками складывавшаяся совесть в старом мире эксплуатации человека человеком. Лишь сбросив страшные, цепкие оковы такой совести, мог начать расти человек смелый, мужественный, хозяин земли, работник, преобразователь, покоритель природы. Наша новая совесть – совесть совершенно иного порядка. Ласка и доброта Сталина, забота, с какой партия Ленина-Сталина пестует человека, – эта ласка и забота поднимает, окрыляет того, на кого она направлена. (Шагинян 1949, 28)

Совесть совершенно иного порядка^У возможна только если сбросить веками складывавшиеся «страшные, цепкие оковы [старой формы] совести». Старая форма совести подпитывалась несчастьем подёнщиков, рабов труда; новая форма совести растёт вместе с уверенностью в себе, верой в светлое будущее и прочное народное счастье. Новая совесть трансформирует своего носителя: «черты народного характера преобразуются под влиянием этой заботы и ласки; человек поднимает голову, смелеет, раскрывает свои внутренние силы; пропадает застенчивость, неуверенность в своих силах, перестаёт быть “стыдно”, “страшно” – выступить, сделать, броситься в бой» (Шагинян 1949, 29). *Совесть иного порядка*^У больше не строится по модели стыда; сама её аффективная составляющая преобразуется. Жалостливой, униженной, безропотной и смиренной совести противопоставлена смелая совесть хозяина,

преобразователя и покорителя. Она передаётся при помощи окрыляющей «ласки», полученной ходаками и сообщённой дальше по цепочке. Новая совесть – это партийная совесть, то есть коллективный опыт, олицетворённый одним человеком, но интроецированный миллионами:

Каждый свой успех и каждую свою ошибку советский человек рассматривает глазами миллионов родного народа, глазами требовательной своей совести. И в успехе, и в достижении, и в ошибке высокая норма нашей совести – сталинская требовательность к себе. Мы [...] мерим себя не жалостливым аршином со скидками на человеческую слабость, а высокой, требовательной, основанной на великом уважении к человеку *сталинской* совестью. (Шагинян 1949, 29)

Новая форма совести – *сталинская совесть*^ψ – синтезируется и внедряется глубоко во «внутренний мир» советского человека. Здесь возникает парадокс внешнего и внутреннего: внутри отдельных советских людей прорастает совесть, сформированная извне. Новоприобретённая совесть представляет собой внешний «орган» – вынесенная вовне, за пределы отдельного человека способность суждения. Она заменяет «жалостливую, скорбную» совесть, как внешний сменный модуль. В самой идее вынесенной вовне, обновляемой совести есть нечто завораживающее.

Каждое своё действие носитель этой *совести иного порядка*^ψ видит глазами миллионов; представим себе это фантазматическое фасеточное моральное гипер-зрение. При этом носитель такой формы совести сверяет её не со своим индивидуальным внутренним чувством, а с фантомом «сталинской требовательности к себе», то есть моральное чувство тоже вынесено вовне и олицетворено в Большом Другом. Миллионоглазая вынесенная вовне совесть, новый внутренний голос, сталинское строгое суждение о себе – совесть одновременно присутствует в регистре морального гипер-зрения, обновлённого внутреннего голоса и способности суждения «значимого Другого» (фантазматического строгого суждения, проживаемого как своё).

Разъясняя отличие *совести иного порядка*^ψ от «старого привычного понимания совести», некая Мариэтта Шагинян приводит пример:

Несколько лет назад в Америке с большим успехом шла в театрах пьеса некоего Уильяма Сарояна, которую критики назвали «гвоздём сезона». Богатые американцы наслаждались этой пьесой, они открыто плакали во время действия и не стеснялись своих слёз – наоборот, гордились ими. Пьеса «освежала» их – она показывала не гангстеров и не любовный конфликт, а изгнание семьи безработного из квартиры за невзнос платы. Это было трогательно, это было жалостно. Рабочий кротко выносил из квартиры свой скраб, а зрителей щекотали слёзы умиления, слёзы собственных добрых чувств. А пока эта пьеса шла на сценах театров, из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгонялись живые семьи безработных, которым нечем было платить за квартиру, и сотни и

сотни фермеров везли по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разорённых гнёзд. Это не трогало и не волновало, это было обычно, в этом не проявлялось необходимой кротости и смирения, наоборот – люди обнаруживали неприятные черты мрачного нежелания быть несчастными, скрытой готовности к возмущению. А для того, чтобы буржуа мог чувствовать доброту и жалость, жертвы капиталистического строя должны быть не только несчастны, но и кротки, смиренны в несчастье. (Шагинян 1949, 28)

Под это описание из произведений Сарояна, написанных до 1949 года подходит только его первая поставленная на сцене пьеса «В горах моё сердце» (1939). Бен Александр, поэт, безуспешно пытается заработать на жизнь исключительно литературным трудом. Семья из трёх человек чудом умудряется сводить концы с концами, но в итоге их всё-таки выселяют из «дряхлого белого каркасного дома с верандой» (Сароян 1961, 118). Финальная сцена трагикомедии: Александр вместе с тётцой и сыном уступают дом новым жильцам, уходят в ночь с одним чемоданом. Непризнанный поэт, который «не ищет работу», так как «работает вдвое больше чем обыкновенные люди» над новой поэмой, гордо бросает в чемодан «стихи, книги, конверты, хлеб и кое-что из еды» (Сароян 1961, 124-125, 151); тётца и сын уходят налегке. «Атлантический ежесюжетник» отверг его «великолепные стихи», поэт пытается символически расплатиться с бакалейщиком этими стихами; возмущённый своей непризнанностью, он избавляется от всей своей мебели, широким жестом оставляя её новым жильцам (Сароян 1961, 136-137, 139). *Совесть иного порядка*^ψ трансформирует его в «рабочего, кротко выносящего из квартиры свой скарб». Моральное гипер-зрение советского человека видит, как «из сотен и сотен настоящих квартир в Америке изгоняются живые семьи безработных, которым нечем платить за квартиру, и сотни и сотни фермеров везут по дорогам Америки свои тележки со скарбом из покинутых, разорённых гнёзд» и не замечает комически-утрированную канву повествования, поэтическую стилизацию, а также того, что отец и сын (нынешний поэт и будущий поэт) – это, возможно, две проекции одного человека (Гудков 2018, 296).

Ударная (последняя) реплика пьесы звучит так:

Ты знаешь, папа, я никого не виню, но где-то что-то неладно (I'm not mentioning any names, Pa, but something's wrong somewhere). (Сароян 1961, 148; Saroyan 1940, 104)

Персонаж пьесы, девятилетний мальчик, никого не винит именно для того, чтобы театральный зритель почувствовал смутную вину. В отличие от него советский человек хорошо знает кого винить: капиталистический строй; он-то запросто может выйти на Красную площадь и крикнуть «долой Трумана!» Но это априорное знание о том, кто виноват, играет с ним злую шутку: он сам оказывается выставлен на суд *партийной совести*^ψ.

Бывает у нас, что советский человек совершает ошибку, наносит урон нашему развитию – всё равно, в области ли хозяйства, или искусства, или науки. И тогда его осуждает советское общественное мнение, судит наша партийная совесть. Это – высокий суд, тяжёлый для провинившегося. Наши враги за рубежом радостно подхватывают факты такого общественного осуждения и любят поиздеваться над тем, что у нас виновные всенародно признают свои ошибки. Старая, мёртвая, схоластическая логика наших врагов не вмещает подлинного объяснения этого факта, она может объяснить его только действием нажима извне, сверху, со стороны. На самом же деле признание своей вины происходит в самом человеке, в глубоком внутреннем мире его совести, требовательно подходящей к себе. Ведь общий высокий идеал, каким живёт наш советский народ, сплачивает всех нас в таком тесном единстве, как никогда раньше не было в истории человечества. И человек нового общества дорожит этим единством, он чувствует свою силу удесятерённой, утысячерённой этим драгоценным чувством единства со всем своим народом. (Шагинян 1949, 29)

Старая, мёртвая, схоластическая логика врагов не позволяет им даже представить, что вживлённая *партийная совесть*^Ψ заставляет признавать свою вину, свидетельствовать против себя. Против провинившегося применяются оргвыводы, но это не только нажим извне, сверху, со стороны – это просыпается и восстаёт изнутри, из глубины вживлённый сменный модуль. Наши враги за рубежом не чувствуют в себе *новый внутренний голос*^Ψ, поэтому они не могут понять то, как у нас «виновные всенародно признают свои ошибки», например, осуждают себя самих за «формализм в музыке». Им незнакома наша перво-сцена: ходоки не просят о том, за чем пришли, так как в них проснулась *совесть иного порядка*^Ψ.

Возвращаясь к реплике, звучащей под занавес пьесы Сарояна, если бы её произносил «окрылённый» ходок, то она звучала бы так: *Он знает, где у нас что неладно, поэтому я виню только самого себя*^Ψ.

* * *

Этическое слепое пятно, вынесенное вовне, персонифицированное в фигуре того или иного «самого человеческого человека», совесть как сменный модуль, открытый для обновления и перепрошивки – это радикальное решение мучительного вопроса, каким из внутренних голосов я должен руководствоваться: совестью или *как бы совестью*^Ψ.